

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044  
9 770131 604002

# РОМАН №9 ГАЗЕТА

**Виктор Слипенчук / Зинзивер**





## СЛИПЕНЧУК Виктор Трифонович

Поэт, прозаик, публицист. Автор книг «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Зигзаг», «Огонь молчания», «Зинзивер» и многих других. Родился в 1941 году в Приморском крае. Служил в армии, получил два высших образования. Двадцать три года прожил на Алтае, сменил несколько профессий: геологоразведчика, зоотехника, матроса, рыбоведа, строителя, журналиста. В 2009 году избран академиком Академии русской словесности. Произведения Виктора Слипенчука получили широкое международное признание — изданы во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сербии, Франции и Японии. Роман «Зинзивер» переведён на французский и китайский языки. Его можно отнести к жанру исторического романа — в нём описан переломный момент в политической и социальной жизни России. Калейдоскоп пейзажей, бытовых примет и житейских ситуаций создаёт объёмную картину новой России, которую автор во многом сумел предвосхитить. Вместе с тем «Зинзивер» — глубоко лирический роман об искренней любви поэта, об истинном предназначении творчества, о трагическом сплетении характеров и судеб. В нём фантастичность грёз иногда реальнее яви, а явь похожа на абсурдный сон.



# Правофланговые. Без купюр

**В**есна 2024 года. Столетие двух выдающихся писателей-фронтовиков. Двух великих мужей русской прозы XX века. Юрий Васильевич БОНДАРЕВ (15 марта 1924 — 29 марта 2020) и Виктор Петрович АСТАФЬЕВ (1 мая 1924 — 29 ноября 2001). Память о десятилетиях сотрудничества с ними живёт в воспоминаниях наших редакторов и художников-иллюстраторов. Выпуски с их произведениями на «золотой полке» журнала «Роман-газета».

В не такие уж и далёкие времена в фондах практически всех библиотек страны, при миллионных тиражах, вся проза и Астафьева, и Бондарева была представлена «Роман-газетой» в полном, авторском, варианте. Подчёркиваю: именно в нашем журнале публикации самых «острых» и дискуссионных произведений шли без купюр!

К радости нашей, некоторые библиотеки до сих пор хранят старые подписки «РГ». Напомним самым преданным читателям, когда и что мы публиковали.

### **АСТАФЬЕВ В.П.**

«Последний поклон»: № 2-1971, № 2, 3-1979  
«Царь-рыба»: № 5-1977  
«Печальный детектив»: № 5-1987  
«Людочка» (Сборник): № 4-1991  
«Прокляты и убиты»: № 3-1994, № 18-1995  
«Весёлый солдат»: № 6-1999  
«Ясным ли днём...» (Повести и рассказы): № 16-2000  
«Затеси»: № 5-2002  
«Пролётный гусь» (Сборник неопубликованного): № 7-2005  
«Тревожный сон»: № 9-2010.

### **БОНДАРЕВ В.П.**

«Последние залпы»: № 17-1959  
«Тишина»: № 2-1963  
«Горячий снег»: № 4, 5-1970  
«Берег»: № 23, 24-1975  
«Выбор»: № 8-1981  
«Игра»: № 2-1986  
«Искушение»: № 13, 14-1992  
«Всё о нём»: № 10-1995  
«Непротивление»: № 14-1995, № 15-1996  
«Бермудский треугольник»: № 3-2000  
«Мгновения»: № 20-1978, № 20-1997, № 19-2001.

*Окончание см. на 3 стр. обложки.*



# Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

**Учредитель и издатель**  
ООО «Роман-газета»

**Главный редактор**  
Юрий Козлов

**Редакционная  
коллегия:**  
Дмитрий Белюкин  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

**Ответственный  
редактор**  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2024  
Все права защищены  
Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-68350  
от 30.12.2016 г.

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные  
индексы издания:**

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

**2024 №9** /1950/ Основана в 1927 г.

Виктор Слипечук

## Зинзивер

Роман

*И, увидев, фарисеи говорили ученикам Его: почему Учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Услышав же это, Он сказал им: не здоровым нужен врач, а болящим.*

От Матфея. 9, 11–12

*Приближались же к Нему все мытари и грешники слушать Его. И роптали фарисеи и книжники, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.*

От Луки. 15. 1–2

*И ответил во второй раз голос с неба: «что Бог очистил, ты не объявляй нечистым».*

Деяния апостолов. 11.9.

*Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил...*

Велимир Хлебников

...Я закрыл глаза и услышал сквозь всхлипы мамино причитание — она подумала, что я опять брежу. Я не бредил... Но чтобы не пугать её, уткнулся в цветок и тут же уснул, то есть как бы растаял в благоухании сада. Сколько спал — не знаю. Когда очнулся, всё так же лежал, уткнувшись в цветок, от которого всё так же веяло майским садом.

Я привстал. В окнах пылала такая необыкновенная заря, что подумалось: окна раскрыты настежь, и я в беленьком домике, и это из волшебного сада веет ароматом роз. И действительно, я вдруг увидел аккуратный беленький домик, дорожки, покрытые розовым гравием, низкий штaketник с ниспадающими на него кустами цветущих роз и приближающиеся легкие переборы гармошки.

Тысячелетие и миг.  
Песчинка и планета.  
Во всём проявлен Божий лик.  
Во всём дыханье света.

Я оглянулся. Я предполагал, что увижу отца или маму, но я увидел её. Она была в белых туфлях и платье в золотой горошек, в котором выглядела точь-в-точь как школьница. Она улыбалась мне и звала, звала...

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1

Однажды глубокой февральской ночью (я всегда писал свои стихи и пьесы ночью, а днем отсыпался) мною овладело тягостное уныние. Причиной стали галлюцинации, которые поначалу как-то даже забавляли, скрашивали мою монотонную одинокую жизнь. Засмотришься на пожелтевшую, потрескавшуюся от времени столешницу, и вдруг как бы из её недр, словно на скатерти-самобранке, является взору столовский поднос, уставленный большими тарелками с горячими блюдами. Тут тебе и домашние щи, и дымящаяся в томатном соусе баранина, и кофе со сливками. Причем всё настолько живо, что в шах можно было рассмотреть, и я рассматривал, плавающие колечки поджаренного лука, а на баранине — сочную зелень молодой петрушки. (Согласитесь, превесьма соблазнительные иллюзии для человека, денно и ночью голодающего не по прихоти, а по беспросветности...)

Созерцая столь великолепные подарки воображения, как правило, за полночь, постепенно стал подготавливаться к ним. То есть на то место, на котором чаще всего взор мой обесмысливался и цепенел, я ещё до полуночи клал ложку, вилку, столовый нож и ставил какую-нибудь пустую бутылку из-под боржоми. Графинчик и рюмочку — не ставил. (Такое роскошество позволил лишь раз, на день рождения, а наутро ужасно сожалел — голова буквально раскалывалась, а желудок схватывали такие спазмы, какие обычно случаются после страшного перепоя.)

В общем, подготавливался с воздержанностью, чтобы потом не сожалеть, и в то же время, чтобы чувствовать себя достаточно свободным в выборе как меню, так и музыкального оформления, каким он оснащался.

Что это такое — свободный выбор... и музыкальное оформление? Это — песня! Да-да, песня, потому что в результате подбора и сочетания, казалось бы, простых кухонных предметов я, подобно профессору магии, в конце концов овладел искусством вызывания почти предсказуемых галлюцинаций.

Конечно, я испытал множество вариантов и вариаций, прежде чем остановился на определённых, наиболее соответствующих моим наклонностям. В силу своей профессии я не люблю шумных компаний, в них всегда присутствует не то чтобы разнузданность, но какая-то внутренняя разухабистость. Чаще всего я выбирал отдельный кабинет, стол, накрытый белоснежной скатертью, два серебряных прибора и скрипача в черном фраке и цилиндре. Откровенно говоря, скрипач меня развлекал не столько музыкой, сколько своим поведением. Играя полонез Огиньского, он всегда так преувеличенно выпячивал грудь, так наступал на соседа по столу, что тот вынужден был раз за разом уклоняться вбок, чтобы не пролить из ложки. Но и здесь вёрткий музы-

кант не терялся, ловко обегал его и уже с другой стороны наседавал на беднягу.

В конце концов сосед откладывал ложку, доставал из нагрудного кармана розовый шёлковый платочек и, прикладывая к глазам, растроганно повторял:

— Не могу, не могу, чтобы так душещипательно!

Чуть-чуть сменив угол зрения, я отдалял скрипача в центр зала, и сосед, опасливо оглядываясь, опять брался за ложку.

— Не могу, не могу, чтобы так... — продолжал он бубнить над ухом, но я не отзывался.

Чтобы не нарушать подконтрольность галлюцинации, я всегда вынужден был действовать в строго очерченных рамках. Наверное, покажется странным, но лиц соседа, скрипача и официанта я никогда не видел. И в то же время совершенно точно знал, что мой сосед — пожилой чопорный англичанин, интеллигентный и весьма, весьма денежный. (Он иногда уходил из-за стола раньше меня, и я собственными глазами видел, какие крупные чаевые в долларах он оставлял.)

Официант, конечно, был сделан в СССР. И вовсе не потому, что я помнил штамп завода-изготовителя на алюминиевой чашечке абажура. В глаза бросалась лакейская услужливость перед иностранцами, свойственная тем достопамятным временам. Долговязый и неуклюжий, в знак высочайшей почтительности он, изгибаясь в поклоне, нависал над столом так, словно хотел поцеловать англичанина непосредственно в макушку. Пренеприятнейшая услужливость, даже сейчас слышится его паточно-приторный голосок: товарищочки, чего изволим-с?!

О скрипаче ничего не скажу, но подозреваю, что вместе с официантом они делили чаевые и, очевидно, как глава предприятия официант брал больше. Во всяком случае, однажды я стал свидетелем красноречивого диалога:

— Позвольте-позвольте, а где мои — за двойной полонезик?!

— Не знаю, не знаю, Гога-товарищок, все у вас. (Сладостно-ядовитое.) Поищите в дырочке под подкладочкой.

— Но позвольте, как же-с, ведь был двойной полонезик?! (Начальственно-сердитое.)

— Дак хоть бы и тройной!.. А за инструмент?! (Назидательно-наставительное.) Не забывай, Гога-товарищок, что на такую Стради мигом сыщу нового музыкантика...

Отдельный кабинет меня устраивал ещё и потому, что я овладел искусством не только раздвигать его стены, но и перемещаться вместе с ним, словно в машине времени. Находясь в кабинете и оставаясь невидимым для окружающих, я мог присутствовать на любой пирушке и даже свадьбе. Особенно я любил — нашу с Розочкой.

В большинстве это происходило так: в момент дружного скандирования «горько!», явственно слышимого как бы из соседней комнаты, я сосредоточи-

вался и всеми своими фибрами желал очутиться там... Лёгкое усилие воли, именно лёгкое, — и, точно по мановению волшебной палочки, стена, находящаяся у меня по правую руку и соответственно прямо напротив англичанина, активно выцветала, будто выедалась какими-то мигающими песчинками. Наконец она утончалась настолько, что через неё, словно через кисею, начинали проступать очертания неестественно длинного стола, занимающего почти весь зал, тесно усаженных за ним гостей и в самом дальнем конце — белоснежное кружево с радостно светящимся личиком, воздушно теплящимся, точно свечечка.

Но вот кисея спадала, левое плечо англичанина вздрагивало (это особенно хорошо было видно по розовому платочку, выглядывающему из нагрудного кармана), и я вдруг ощущал, как вся моя жизненная сила переливается в англичанина как раз через этот нагрудный карман. Странное дело, но я откуда-то знал, что, перелившись в англичанина, не исчезну, а лишь в его внешности предстану перед окружающими своеобразным свадебным генералом.

Так и случалось. Поправляя платочек и тем самым осваивая его смокинг, я обнаруживал в правом, внутреннем, кармане увесистое портмоне, туго набитое, как ныне говорят, «зелёными», а в левом, нижнем, врезанном едва ли не в самый край подкладки, старинные золотые часы на огненно вспыхивающей цепочке, украшенной бриллиантами. На глухом футляре, а именно на открывающейся крышечке, инкрустированной перламутром, виднелись выгравированные латинские литеры SVT. Кстати, их я тоже сразу освоил и прочитывал на русском не иначе как «сват», что придавало моему присутствию на свадьбе некую дополнительную естественность. Словом, почувствовав себя англичанином и при деньгах (в скобках заметим, на своей свадьбе, на своей!), я ощущал в удовольствии приобретённую вдруг старческую медлительность и чопорность, с которой доставал золотые часы, а достав, привлекал к себе всеобщее внимание мелодичным звоном, которым непременно сопровождалось открывание инкрустированной крышечки. Медлительность и чопорность были мне хороши ещё и тем, что позволяли вполне незаметно оглядеться и, в строго очерченных рамках, сделать свой первый и, главное, правильный ход.

Глядя на циферблат, я замечал боковым зрением, как моё физическое, материальное «я» бесследно исчезало, испарялось, а мой кабинетный стол, накрытый белой скатертью, срастался с неестественно длинным свадебным, за которым все лица, повернутые ко мне, выражали почтительное и вместе с тем веселое внимание.

Здесь я позволял себе несколько покичиться (эх, годы, годы!). Едва не опрокинув фужер, расплескивал боржоми, с трудом вставал, чтобы произнести тост за здоровье и счастье молодых. Невольно пристыженные моей старческой беспомощностью, следом, как по команде, вскакивали не только гости, но

и жених, и невеста. Пригубив фужер с водою, я начинал речь. Не знаю, была ли она достаточно короткой, чтобы выслушивать её стоя, но выслушивали. За время тоста я умудрялся сообщить, что нахожусь на свадьбе не случайно, а по протекции или, проще сказать, по просьбе родителей виновников столь торжественного события, которые в силу обстоятельств не смогли приехать и поручили мне передать их святое благословение.

(Тут я, хотя и не распространялся, давал понять, что матушка жениха, одинокая, забытая страной пенсионерка, живет очень далеко, где-то под Барнаулом. А родители невесты, беженцы-погорельцы, живут ещё дальше, где-то под Манчестером, с ними я, в прошлом белый офицер-эмигрант, там, в русском посольстве, и познакомился).

Затем, осенив широким крестом молодых, я выражал искреннюю надежду, как бы только что привезенную из Англии, в том, что доченька, студентка второго курса медучилища, несмотря на замужество, всё же успешно закончит учебное заведение. А сыночек (я добавлял от себя) не ударит в грязь лицом и достойно сдаст выпускные экзамены в Литинституте и уже в ближайшие годы своими бессмертными творениями войдёт в золотую сокровищницу мировой литературы.

Закончив речь, я допивал боржоми — и тут происходило чудо. Да-да, чудо! И всегда в одном и том же эпизоде: как только я допивал воду, но ещё не успевал поставить фужер, кто-то (непонятно кто, но голосом точь-в-точь матушкиным) громко и весело сообщал: чёй-то питие горькое?!

О, что тут начиналось! Свадьба взрывалась дружным требованием, и жених, преодолев смущение, привлекал к себе невесту с таким волнением, что я невольно опускал глаза, чувствуя беспомощность его страсти.

Стараясь не мешать ему и всё же не менее его взволнованный этими незабываемыми минутами, я доставал туго набитое купюрами портмоне и совершенно по-джентльменски просил от имени родителей передать невесте её приданое.

Не буду рассказывать, как, сложенный на левую сторону, то есть кармашками с долларами наружу, из рук в руки плыл над головами увесистый заграничный бумажник. Я не смотрел на него. Было бы неприличным для интеллигентного русского, воспитанного в Англии, оберегать его цепким взглядом. Я и так внезапно обострившимся слухом, помимо воли, улавливал его прерывисто-волнообразную траекторию. И немудрено, при одном приближении кошелька веселый говор стихал, уступал место восхищённому молчанию.

Я не реагировал. Вновь доставал часы и, пользуясь своей почтенной медлительностью, словно маскхалатом, открывал их ровно в ту секунду, в какую невеста получала приданое. Попадание было архиважным, я не хотел видеть и не желал, чтобы

другие видели, каким образом и куда Розочка спрячет бумажник. Мелодичный звон часов, как правило, отвлекал всех от этого пикантного действия.

Впрочем, не буду лукавить — не всегда всё получалось в строгом соответствии с расчётом. Иногда вдруг (прошу прощения, но сбои происходят вдруг) посередине стола, а может чуть дальше, внезапно раздавался стеснённо-сиплый, пронзающий тишину голос:

— Готов поспорить с кем угодно, там этих «джорджиков» тысяч на десять!

Как после этого было не растеряться, не выломиться из строго очерченных рамок?! «Джорджики»?! Какой ты англичанин, если приданое привёз из Манчестера не в фунтах стерлингов, а в долларах?! В самом деле, при чём тут доллары?! Воистину всё в чисто русском ключе — непобедимый на поле брани богатырь в конце концов заканчивает свой жизненный путь либо постригом в монахи, либо, поскользнувшись на ровном месте, разбивает голову о валун-камень.

А между тем, чувствуя себя голым королём, по собственному недомыслию разоблаченным, я принужден был продолжать игру — доставать часы, открывать инкрустированную крышечку, то есть по устоявшемуся сценарию владеть общим вниманием.

И я владел. Под мелодичный звон часов, не ожидая ничего, кроме осуждения и брезгливости, я вдруг (да-да, опять вдруг) награждался дружным ликованием. Да-да, ликованием застолья, оно непонятным образом объясняло моё родство с английской королевой, которое по скромности я якобы утаивал, но которое, слава богу, благодаря баснословному приданому, весьма удачно для всех разъяснилось.

Это было так поразительно, так неправдоподобно, но я всё равно был счастлив, воистину счастлив...

## Глава 2

Возвращение в конуру всегда было тягостным, особенно после свадьбы. И вовсе не потому, что резче обычного бросались в глаза нищета и убогость обстановки. Виной были переживания, связанные с Розочкой. После встречи с нею одиночество и безысходность овладевали с такой силой, словно она ушла только что.

А обстановка, увы, даже нравилась.

Кухонный стол, он же письменный и он же хозяйственный — в некотором роде верстак для починки домашней утвари.

Над столом — уже известная лампа с чашечкой абажура, прикрученная проволокой к стояку батареи.

Кухонная табуретка, она же — рабочее кабинетное кресло.

Невероятной ширины спальная кровать без пружин — из-под матраса выглядывало довольно обширное поле теннисного стола, которое попутно служило оригинальной лавкой. (Во всяком случае,

всякий, кто усаживался на неё, не обходился без комплимента: оригинально, очень оригинально-с!)

Сразу за входной дверью, в левом углу, — стопки книг и кипы рукописей, перетянутых и не перетянутых шпагатом, лежащих на полу развалами, прислонёнными к боковой стене. Здесь же, поверх книг и рукописей, моё демисезонное пальто, напоминающее крылатку, пошитое в пору гайдаровских реформ из общежитского байкового одеяла и названное «демисезонным шоковым». (В самом деле, появляясь в нём на улице, я шокировал всех прохожих. Мало того, что останавливались как вкопанные, ещё и растерянно провожали взглядом, точно какого-нибудь южноафриканского страуса.) Вместе с крылаткой лежала и другая одежда и одежонка. В общем, и её, и книги, и всякие там рукописи я содержал как бы в шкафу, под аккуратно накинутой на них простынею.

Ничего другого из мебели не было, да и не могло быть. То есть когда-то было, но Розочка увезла. И правильно! Зачем мне холодильник, что в нём держать? Телевизор — опять вопрос, потому что и без него могу смотреть «До и после полуночи». Платяной шкаф тоже не нужен. А уж книжный — и подавно, оставшие и надорванные обои гораздо удобнее любого шкафа и любой этажерки. Я засовывал под них не только газеты, журналы и книги, но и всякие другие вещи, которые каждую минуту могли понадобиться. Для меня стало правилом: в быту — никаких излишеств. Итак, благодаря многоцелевому назначению предметов порой казалось, что роскошествую и в своем обиходе вполне бы мог обойтись меньшим. Тот же старинный уют на рукописи, раскрытый, точно пасть крокодила. Судя по застарелым окуркам, карандашам и ручкам, торчащим из него, смело можно было заключить, что он многоцелевой: и тебе пресс-папье, и пепельница, и письменный прибор, и конечно же, если доведётся, грозное оружие самообороны. И это при всём при том, что хотя и редко, но всё же случалось его использовать по назначению.

Словом, никакой нищеты и тем более убогости не чувствовал. Иногда, правда, уж очень хотелось есть. Кажется, так бы и закричал: е-есть, е-есть! Так бы и побежал куда глаза глядят в своей крылатке. Но я научился управлять собой. Ещё будучи студентом, провел эксперимент — ровно тридцать дней жил практически на одной солёной воде. Я мог бы голодать и дольше, но слух обо мне настолько растревожил общежитие, что не стало житья от любопытствующих. Вместо занятий они набивались в комнату и раз за разом будили меня, чтобы удостовериться, помер я или нет. Сам руководитель нашего семинара посетил меня. Во мне обнаружили способности к внушению и самовнушению... Впрочем, это отдельная тема, а сейчас, изредка голодая, я получал с этого кое-какие дивиденды в виде «горячих шей и баранины с петрушкой», что помогало мне не падать духом и писать, писать свои стихи и пьесы. Я был уверен, что однажды общество заинтересуется: чего

это он, взаперти, всё пишет и пишет? Кстати, писать и верить — это основной принцип писателя.

Первый сокрушительный удар по основному принципу нанесла Розочка — она ушла... Почему?! Ничего не сказала, не предупредила, приехала на грузовой машине с двумя горцами (мне потом рассказывали, хотя я и затыкал уши) и увезла всё подчистую. (Оставила лишь стол, рукописи и книги, которые, очевидно в спешке, свалила за дверь.) Куда она уехала, зачем? Непостижимо! На столе была записка: «Не ищи — не найдешь, я сменила паспорт и фамилию».

Это было до того странным, до того непонятным — как так, просто взяла и сменила?! Для чего? Тем более что всего месяц назад на предложение судьи — «прежде чем решаться на шаг расторжения, следует хорошо подумать» — Розочка ответила за нас обоих: хорошо, подумаем.

И вот?! Непостижимо!..

Возвратившись в свою конуру, я припоминал подробности нашей совместной жизни.

Студенческая свадьба в молодёжном кафе. Мои успешные госэкзамены. Её академический отпуск (через писательскую поликлинику я достал ей необходимое заключение врачей — после Чернобыля были подозрения). Весёлый и шумный отъезд в нынешний провинциальный городок. Моё трудоустройство литконсультантом в областной комсомольско-молодёжной газете. (Должность блатная, полученная мною по ходатайству Литинститута. Да-да, на меня возлагали надежды, но не буду отвлекаться.)

Мы получили комнату в общежитии телевизионного завода (пусть на конечной остановке автобуса, пусть не очень просторную, но светлую) — у нас появилась крыша. Как бы там ни было, а первое время мы жили великолепно. Конечно, моей зарплаты не хватало, но не зря говорится, что с милой рай и в шалаше. Тем более я писал тогда круглосуточно, и мы надеялись, что настанет день и мои пьесы пойдут сразу веером, на нескольких сценах. Однажды к нам приходил даже главреж местного драмтеатра, просил меня поправить пьесу одного маститого московского драматурга, которую он собирался ставить, но почему-то не поставил, хотя необходимые поправки я сделал и даже получил сто рублей — деньги по тем временам для нас неслыханные.

О, мы замечательно жили! Розочка целыми днями спала, а я писал и писал. Я верил. Я посвящал ей буквально все свои стихи и пьесы, и она находила их в некотором смысле гениальными. Потягиваясь, волшебным выгнув свою безукоризненную фигурку, она спрашивала:

«Есть ли у нас поесть?»

Открывала дверку холодильника. Я чувствовал себя ужасно глупо, но она успокаивала:

«Нет хлеба единого, так что ж?...»

Розочка намекала: не хлебом единым жив человек. Захлопнув дверку, брала с холодильника «Родопи», закуривала и опять ложилась в постель, готовая слушать мои стихи и отрывки из пьес. И я читал, на мой взгляд, наиболее удачные, поэтому несколько не удивлялся, когда она вдруг, всплакнув, говорила:

«Ты знаешь, Митя, в некотором смысле это гениально, но я не заслуживаю, не заслуживаю от тебя даже корочки хлеба!»

Я бежал по длинному коридору общежития в надежде занять у кого-нибудь хоть немного денег. Иногда этот процесс затягивался на целый день. Под видом неотложных дел (я вел литературное объединение раз в неделю) приходилось появляться в редакции и исподволь присматриваться к окружающим, чтобы неосторожным словом не вспугнуть беспечного кредитора.

Заняв крупную сумму (как правило, маленькую мне не одалживали), я исчезал в неизвестном направлении. То есть направление я обозначал в объявлении: «В связи с отъездом в командировку (работа в архиве) литобъединение переносится на последний четверг месяца».

Надо отметить, что мои частые отъезды в архив создали вокруг меня ореол весьма серьезного и умного литератора.

На самом деле быстрым и уверенным шагом я направлялся в ближайший продовольственный и закупал всё необходимое, чтобы вместе с Розочкой отпраздновать мои в некотором смысле гениальные произведения. Понимая, что мне одолжили, быть может, в последний раз, — не скупился. Брал несколько бутылок водки и столько же — вермута (Розочка любила крепленые вина). Закуску выбирал тоже отменную и только потом уже вместе со всей этой снедью ехал домой радостный и счастливый, в предвкушении нашего царского пиршества.

О, как замечательно мы жили! Впоследствии, благодаря Розочкиной изобретательности, у нас почти не переводились деньги. Она подсказала мне одалживаться не в редакции, а у членов литературного объединения и долги не отдавать. То есть отдавать иным способом, так сказать, устным рецензированием, причём хвалить автора не в зависимости от литературных достоинств его произведений, а в зависимости от одолженной суммы. Поначалу это было ужасно, что-то наподобие квашеной капусты с трюфелями. Наверное, я бы никогда не преодолел себя, если бы не образ Розочки. К счастью, в особенно роковые минуты её милое личико, полное укоризны, вдруг вставало перед глазами и как бы отгораживало меня от моей же собственной низости. Более того, когда приходилось брать в долг у безнадёжного графомана, мной овладевало какое-то смешанное чувство садизма и мазохизма. Пряча деньги, я заговорщицки подмигивал кредитору и, панибратски похлопав по плечу, без обиняков рекомендовал его своей литературной элите:

«Присмотритесь, новый Лермонтов!»

Относительно «элиты» я не оговорился, у меня так бойко пошло дело, что вскоре я заведовал самым именитым литобъединением в мире: новый Островский, новый Тютчев, новый Чехов, новый Блок... Каждый следующий «новый» определялся прежде всего по возрасту и полу, а потом уже по жанру представленных произведений. Среди поэтесс были не редкостью новая Ахматова, новая Цветаева, новая Вероника Тушнова, новая Сильва Капутикян. Когда литобъединение покинули все более-менее способные авторы, я совсем распоясался. Через старосту литактива, как одного из наиболее «безнадежных», внедрил в умы начинающих литераторов что-то в виде тарифной сетки. Если начинающий прозаик, допустим, одалживал мне половину своего месячного заработка, то он мог претендовать только на нового Герцена или Чернышевского. Если же отдавал всю зарплату, то тут я уже не сомневался, что передо мной собственной персоной либо Федор Михайлович Достоевский, либо сам граф Лев Николаевич. Не буду объяснять всех нюансов сетки, скажу лишь, что за точку отсчёта брался семнадцатый век, а дальше расценки шли по нарастающей. По особенно крутому номиналу оценивались именитые писатели из ныне здравствующих.

«Пока они живы — их можно превзойти, — не раз в своё оправдание говаривал я тому или иному автору. Причём не делал исключений даже для нобелевских лауреатов. — Время у тебя есть, постарайся — превзойдешь», — нагло заявлял я, читая в глазах притязателя искреннее одобрение и даже признательность за свои слова.

В общем, мое предприятие пошло так гладко, что накануне критического анализа произведений начинающие авторы сами подходили ко мне и напрямую давали «в долг» в расчете на Есенина или Маяковского. Вначале я ещё удивленно скидывал брови, изображал на лице недоумение и даже оскорбление, но быстро понял, что без церемоний оно надежнее. Единственное, что смущало, в связи с новыми политическими веяниями многие мои Белинские, Чернышевские, ранние Достоевские и Герцены кинулись в какие-то демонстрации, несанкционированные митинги протеста, экологические шествия. Чтобы удержать оставшихся литобъединенцев, я иронизировал над ушедшими, клеймил их дезертирами, попами-расстригами, предупреждал, что политика — камень на шее литературы, но всё впустую, ряды кредиторов катастрофически редели.

Вновь началось безденежье, а с ним и вынужденный Великий пост, тем более ужасный, что мы уже вкусили сладостных греховных плодов. Чтобы не показывать свою беспомощность перед обстоятельствами, я опять писал. Писал день и ночь почеховски, в том смысле, что пока не сломаю пальцы. Розочка стала искать работу, я не смел отговаривать, а только с ещё большим рвением посвящал ей всё

много написанное. В дни заседаний литкружка, не дождавшись её, я оставлял ей записки, полные любви: «Милая Розочка, сто раз целую!», «Розочка, целую нежные кончики твоих пальцев!», «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Я писал свои записки крупно, на форматной лощёной бумаге и расклеивал по всей комнате. Всюду-всюду можно было наткнуться на мои записки: на стене, на экране телевизора, в платяном шкафу и даже в морозилке холодильника.

Однажды она вернулась особенно уставшей и бледной. Машинально открыла пустой холодильник. Как сейчас помню, оттуда выпорхнула моя записка: «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Не буду лгать, меня резанули кощунственность и беспросветность ситуации. Не зная, что сказать, я спросил, ела ли она? В ответ, едва не задохнувшись от негодования, она крикнула, что сыта по горло! И, не раздеваясь, легла на кровать, отвернувшись к стене.

В тот день Розочка потребовала развод и повела меня в нарсуд. Чувствуя себя виновным и оттого несчастным вдвойне, я был согласен на всё. Именно с того дня, по её настоянию, я стал называть её Розарией Федоровной, а она меня — физическим лицом Слёзкин. Кроме того, Розочка строго-настрого запретила мне читать мои пьесы вслух и тем более ей.

В ту злополучную ночь я впервые спал в углу на своих рукописях. И самое странное, спал как убитый. Проснулся поздно, и не от какого-то там шума — от собственного смеха.

Перед самым пробуждением мне приснился уж очень весёлый сон. Запомнилось, что я нахожусь на очередном заседании нашего литературного объединения, но вместо отпетых бездарей тесным кругом стоят выдающиеся писатели всех времён и народов (что-то схожее с собранием Библиотеки мировой классики, так сказать, живьём). Вот Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев... Из иностранцев: Сервантес, Шекспир, Данте, Гёте... Больше, конечно, писателей, которых впервые вижу, но все они, подлинные знаменитости, стоят плечом к плечу и напоминают мне как бы кольца древесного круга. Я всматриваюсь в лица — Шолохов, Есенин, Шукшин и почему-то между Фолкнером и Хемингуэем — Горький. Ну, в общем, всё как во сне. А я, Митя Слёзкин, в центре этого плотного многоярусного кольца: в чёрном цилиндре, байковой крылатке с тремя поперечными полосами по плечам (тогда её у меня не было, а вот однако ж...), в лаковых туфлях на очень высоких каблуках и в руке у меня — батистовый платочек. Я приготовился петь частушки с приплясом и ищу глазами Михаила Афанасьевича Булгакова, который должен быть непременно с моноклем в правом глазу. Я ищу его в поддержку себе — плясать и петь частушки в столь серьёзном кругу без поддержки как-то боязно. (Почему я был уверен в его поддержке, надеюсь, понятно!\*) И вот вместо Михаила Афа-



насевича натыкаюсь взглядом на Льва Николаевича. Взгляд у него свирепый, глаза горят — бог Саваоф, а в руках — розги. Я на полуслове онемел, потому что знаю, что сейчас принародно за каждое неправильно употребленное мною слово получу сто розог. Всё — конец представлению!.. И вдруг догадываюсь, что собрание классиков всех времен и народов ненастоящее, что все они ряженные мною члены нашего литературного объединения. Радость тут охватила меня — великая. Как давай я петь, как давай отбивать каблуками, а частушки все с картинками и после каждого куплета — рефреном: «Я пришёл экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!»

С этим на уме, смеясь, и проснулся. Проснулся и тут же всё вспомнил. А вспомнив, аж похолодел от страха не хуже, чем перед розгами, — Господи, что за белиберда, что подумает Розочка?! К счастью, её уже не было, она ушла искать работу.

Наскоро привёл себя в порядок (я спал на рукописях одетым), отправился в редакцию.

Признаюсь, о завтраке я и не подумал, и не потому, что всё равно ничего не было, дело в том, что в присутствии Розочки я не испытывал потребности в пище — никогда. В самом деле, вдумайтесь: Розочка и корка хлеба во рту — ужасно, невыносимо! Даже сейчас, когда я уже совершенно другой, нахожу, что тот Я или Он по большому счёту был прав. Во всяком случае, его мысли и действия заслуживали если не оправданий, то хотя бы снисхождения. Разумеется, в присутствии Розочки мне приходилось есть, и бывало так, что несколько раз на дню, но это не было самоцелью, а случалось чаще всего невзначай, машинально. Другое дело — кормить Розочку или доставлять ей удовольствие тем, что сам что-то съешь; надеюсь, различие достаточно ощутимое.

В общем, я появился в редакции, чтобы занять денег. Мотивировка была прежней (в командировку — срочная работа в архиве). Я надеялся, и тому были основания (уже давненько не появлялся в редакции с утра), что моё явление никак не будет связываться с моим желанием у кого бы то ни было одолжиться. Но — ошибся. Не успел, как говорится, нарисоваться в дверях, ко мне быстрым шагом, как будто загодя поджидали, подошли два корреспондента из отдела «Комсомольская жизнь» и с таким видом, словно я самый богатый человек в СССР, попросили в долг по червонцу. «В крайнем случае, — настаивали они, — подскажи, кто при деньгах, перехватим у него». Конечно, они копировали меня, но самое неприятное, что обоих этих корреспондентов я знал как самых серьёзных и состоятельных в редакции и именно у них рассчитывал одолжиться. Разумеется, таким способом мне устроили obstruction. Я решил стоять насмерть. Впрочем, ничего другого и не оставалось.

Я сел за свой стол и первым делом написал объявление: «Деньги есть, но не одолжу из принципа». Я понимал, что теперь навсегда пресекаю редакцион-

ный источник. Но что было делать, ещё оставался редактор газеты, и его как-то надо было дождаться (он, как правило, приходил в редакцию перед обедом).

Мои подозрения оправдались полностью. Только я успел написать свой письменный отказ и вытащил кипу рукописей якобы для чтения, ко мне один за другим стали подходить сотрудники с уже известной целью. Не произнося ни слова, я указывал на объявление, лежащее на краю стола. О, как внутренне я хохотал, наблюдая боковым зрением вытягивающиеся лица. Не знаю, как я догадался мгновенно сочинить «Деньги есть...», это было какое-то гениальное прозрение. Волею Провидения я спутал карты — не меня унижали, а — я... Причём не надо было вступать в диалог, объясняться. Вопрос — ответ. Я ликовал. Но, оказалось, преждевременно.

После того как все от меня отстали и всё улеглось, успокоилось, вновь появились те двое из «Комсомольской жизни». Я полагал, что они сейчас начнут притворно упрекать меня, стыдить, канючить, мол, как же так, говорил, что денег нет, а у самого, оказывается... Ну и так далее... К такому повороту я был готов. Но нет.

Они подошли ко мне как бы впервые. Очень долго и молчаливо изучали объявление. Потом, не обращая на меня никакого внимания, словно я отсутствовал, стали обмениваться впечатлениями, говорить, что принципы надо уважать, а людей принципиальных — чтить и даже по возможности ублажать деньгами для какой-нибудь срочной работы в архиве или ресторане.

Намёки были слишком прозрачными, чтобы не понять... но всё их ерничество меня не трогало, не вызывало обиды. Напротив, в какой-то степени забавляло, пока они не вытащили свои карманные деньги (хрустящие красненькие червонцы). Тут только почувствовал, что как бы проваливаюсь в пустоту. Корреспонденты затеяли своеобразное соревнование в щедрости. Дескать, ты мне можешь одолжить двадцать рублей, а я тебе — тридцать. Ты — сорок, а я — все сто.

Не знаю, как удалось выдержать. Это было больше, чем измывательство. Чтобы они не догадались о моих чувствах, неотрывно смотрел в рукопись. И — таки выдержал, они убралась, и я дождался редактора!

Он заявился после обеда, в приподнятом настроении (собирался в отпуск), и принял меня сразу. И тоже весело так:

— Что, Митя, опять в командировку — срочная работа в архиве?!

Я ответил, что нет, не для того зашёл: срочно нужны деньги. И посмотрел на него уж не знаю как, но весёлость с его лица мигом слетела. Вначале он задумался, как будто внезапно вспомнил что-то своё, а потом как-то суетливо поднял трубку и при мне попросил бухгалтерию:

— Выдайте Мите Слёзкину, — поправился, — выдайте поэту Слёзкину треть его будущей зарплаты.

И чтобы там, на другом конце провода, никто не оспаривал его решения, как бы выбросил на кон козырного туза:

— У него срочная работа в архиве. Да-да, в Питере.

Уж не знаю, что прочитал редактор в моём взгляде, но только и в бухгалтерии ко мне отнеслись с пониманием и выдали не треть, а — уже по моей просьбе — половину зарплаты.

Как только получил деньги, всё во мне так и запылало, так и заприплясывало. Невольно остановился на лестничной площадке — какая-то знакомая мелодия, во всяком случае — припляс?! И вдруг вспомнил: во мне пелись с приплясом приснившиеся слова, повторяющиеся рефреном: «Я пришел экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!» Глупо? Конечно, глупо, но я, так же как и во сне, рассмеялся и почувствовал на душе такую необыкновенную лёгкость, словно в ту минуту там, на лестничной площадке, свалил с себя груз всех прежних и будущих унижений.

### Глава 3

Розочка встретила великолепно. Положила пакеты со снедью на стол и позволила обнять себя. О Господи! В ответ каждая моя клеточка вскрикнула в восторге, нечленораздельно, но с такой истомлённостью, словно мы не виделись тысячу лет. Я сжал её в объятиях, прижался к ней и в какой-то сладостной муке уже членораздельно, с какими-то непонятными мне самому всхлипами пролепетал:

— Роз-зоч-ка!

— Ты что, плачешь? — строго, но всё же больше удовлетворенно спросила она и откуда-то из-под меня протянула руку и потрогала мои глаза, чтобы удостовериться.

Не знаю, может, в самом деле всплакнул от избытка счастья, только сам я ничего не почувствовал, кроме нежной лёгкости её пальчиков. А хотя бы и всплакнул, что тут такого?! Кажется, у Достоевского читал, что через великие страдания всё к нам приходит, — вот и Розочка пришла. Впрочем, без Достоевского, по собственному опыту познал, что счастье — это как подарок душе уже за то, что она, душа, есть...

У Розочки душа удивительная, удивительная по понятливости — она всегда понимала меня лучше, чем я сам себя самого. А потому опять, как-то ловко сцепив руки замком, поднырнула под меня и, отстраняясь, уперлась ими в мою грудь с такой силой, словно коленом.

— Какая я тебе Роз-зоч-ка?! — сердясь, передрозничала она и потребовала, чтобы я сейчас же отпустил её.

Я отпустил, конечно, но мысленно всё ещё как бы прижимал к себе. Так бывает с песней — тронет душу, уже давно отзвучит, а отзвук всё ещё теплится в сердце. Так и здесь — отпустил, стою переполнен-

ный, в каком-то гипнотическом состоянии, даже боязно пошевелиться. И тут она огорошила как бы сковородкой:

— Что, товарищ Слёзкин, маненько забылись, дали волю рукам?

То есть не огорошила, она ведь ещё во дворике нарсуда предупредила, что отныне она для меня никакая не Розочка, а Розария Фёдоровна. И я для неё тоже не бог весть кто, а физическое лицо, посторонняя личность. В лучшем случае — товарищ Слёзкин. Так что никакой «сковородки» с её стороны не было, просто всё сказанное ею в этот момент было в таком ужасном диссонансе с моими чувствами, что я как стоял, так и продолжал стоять, но уже без чувств.

Оправляясь и охорашиваясь от объятий, Розочка несколько раз внимательно посмотрела на меня, потом хохотнула, как умеет только она, прикрыв рот рукой.

— Повторяю: что, товарищ Слёзкин, маненько забылись, дали волю рукам?

И засмеялась так весело, так заразительно, что и я наконец-то пришёл в себя, тоже засмеялся, радуясь, что ей весело.

Мы вместе готовили ужин, баловались, бегали друг за другом на кухню, путали чужие сковородки со своей. И было даже интересно называть её Розарией Фёдоровной и откликаться на Физическое Лицо или Постороннюю Личность, словно на некий внезапно пожалованный прокурорский чин или воинское звание.

В общем, постепенно я привык к нововведению. Единственное неудобство от её затеи испытывал в постели. (Розочка снова разрешила спать с нею, но пригрозила: если хоть раз товарищ Слёзкин забудется и неправильно назовёт её, то пусть пеняет на себя.) Даже во время самых интимных излияний, когда вот-вот потеряешь рассудок, она предупредительно, тычками в живот, извещала меня, чтобы держал себя в руках, не забывался и не распускал слюни. Как-то я сознательно пошёл на хитрость. Зная, что после интимных излияний ей, так же как и мне, особенно приятно полежать просто так, созерцательно, без всяких мыслей, я пододвинулся к ней (она лежала на спине отдохновенно, в некотором забытии) и с неподдельной нежностью, свойственной мне в такие минуты, прошептал: цветочек мой, Розочка! Она как лежала, так и продолжала лежать, только голову, не приподнимая даже от подушки, резко повернула ко мне и голосом ровным, холодным и внятным сказала:

— Что, Посторонняя Личность?

Даже сейчас, спустя два года, мне иногда слышится этот леденящий голос. Больше я не испытывал судьбу. В постели всегда молчал, а если случался разговор, то силой воображения я подменял Розочку на какую-нибудь отвлеченную Розарию Фёдоровну, для которой иначе как товарищем Слёзкиным я и не существовал.